

УДК 821.161.1-3  
ББК 84Р7-4  
М57

оформление, макет — Валерий Калныньш

**Минаев Б. Д.**

М57 Мягкая ткань: Роман. Книга первая. Батист. — М.: Время, 2015. — 352 с. — (Серия «Самое время!»)

ISBN 978-5-9691-1378-7

Роман «Батист» Бориса Минаева — образ «мягкой ткани», из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная история — это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и неотвратимость смерти. Герои романа — обычные люди дореволюционной, николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-1378-7



© Борис Минаев, 2015

© «Время», 2015

*Посвящается  
Дориану Михайловичу Минаеву*



## Глава первая

### Доктор Весленский (1925)

7 июня у киевского доктора Весленского умерла жена.

Болезнь протекала стремительно. Наконец наступило утро, когда доктор, зайдя в ее комнату (сам он спал в соседней, открыв широко дверь и чутко прислушиваясь к каждому звуку), обнаружил жену уже холодной и тихой.

Весленский обмыл тело влажной губкой, передел Веру в чистое белье и ушел. Днем он принимал больных, потом зашел в библиотеку и лишь вечером отправился обратно домой. Там перенес жену на обеденный стол в гостиную, под яркую люстру, и начал раздевать, вглядываясь во все то, что так хорошо знал. Вера была моложе его на пятнадцать лет. Нельзя сказать, что она была красавицей. Нет. Она не была красавицей: довольно рослая молодая девушка с длинными руками и ногами, маленькой грудью, смешным милым лицом.

Доктор, разумеется, знал, что задача, поставленная им самому себе, необыкновенно трудна. Читая и перечитывая труды по бальзамированию\*, взятые в городской научной

---

\* Бальзамирование — способы предохранения трупов от разложения и гниения; для этого мягкие части трупа обрабатывают веществами, предотвращающими эти процессы. Подобного рода бальзамирование было известно уже ассириянам, мидянам и персам, но наибольшего совершенства в искусстве Б. достигли древние египтяне. Египетский метод Б. был описан Диодором, но его описание во многих частях страдает неясностью. Можно полагать, что египтяне обладали многими методами Б. Самый совершенный состоял в опорожнении

библиотеке, в частности статьи г-на Выводцева, по методу которого Весленский собирался действовать, доктор параллельно в уме производил подсчеты и даже рисовал в воображении некоторые пространственные схемы. В частности, он хотел понять, а сможет ли один воспользоваться

---

полости черепа с замещением мозга ароматическими веществами, в удалении всех внутренностей, пропитывании их ароматическими веществами и наполнении брюшной полости пахучими смолами или асфальтом. Затем производилось вымачивание всего трупа в растворах натриевых солей и наконец заворачивание его в непроницаемые для воздуха ароматизированные ткани. При египетском способе бальзамирования трупы не предохранялись от разложения — это доказывается простым осмотром мумий. Все мягкие части оказываются совершенно изменившимися в своем строении, и даже наружные формы их еле сохранены. Получается, что египтяне умели лишь превращать гниение в продолжительное изменение и распад тканей, что достигалось частью при помощи применения антисептических веществ, частью путем устранения доступа воздуха, частью условиями, способствовавшими высыханию трупа. В новейшее время Б. применяется крайне редко. Самый простой способ, известный с древних времен, — это высушивание трупов в сухих гробницах и склепах, где мумификация происходит сама собой. К числу искусственных способов относится обработка трупов препаратами, поглощающими влагу и свертывающими белковые вещества, например креозотом, древесным уксусом, некоторыми солями, особенно сулемой, мышьяком и другими минеральными средствами. Вводить их лучше всего путем впрыскивания растворов в кровеносные сосуды.

инъектором Выводцева, чтобы ввести в тело необходимую жидкость, сможет ли сам справиться с операцией, сделать надрезы, наложить зажимы, ведь инструменты необходимо кому-то держать наготове, а члены усопшей — сохранять в неподвижности.

Но прежде чем приступить ко второй части своей работы, перейти к самому процессу подготовки тела и всего прочего необходимого, доктор хотел *проститься* с Верой, как он это называл про себя.

То есть в полном одиночестве, *наедине с нею* дать волю своим чувствам, причем сам он (называя это в уме именно так) вовсе не предполагал и даже не пытался понять, что значит — *проститься*, что это будет и как это будет, он просто твердо знал, что ему в этот момент ничто не должно мешать.

Плотно зашторив окна и заперев двери, доктор снял с тела и аккуратно сложил — на стуле, рядом с обеденным столом, — легкое покрывало.

Нельзя сказать, чтобы ему в этот момент ничего не мешало.

Ему мешали мысли, а если говорить точнее, это были его собственные страхи, материализовавшиеся в слова, в какие-то всполохи, как бывает летней ночью, во мраке, когда где-то вдалеке идет гроза и в мертвой духоте, теплоте лета, в его мягкой темноте вдруг образуется некая зона огня, как напоминание о другой жизни...

Так вот, эти мысли были совершенно неожиданными, и каждый раз, когда доктор пытался сосредоточиться на своем и уходил в это «свое» и глаза его переставали быть зрячими, он вдруг резко морщился и мелко тряс головой, пытаясь избавиться от навязчивых странных идей.

Идея первая была такой: что он *сделал ошибку* и Веру нельзя оставлять так надолго летом в душном запертом помещении. Что все кончится очень плохо, появится запах, Вера начнет меняться, в частности — цвет тела и его фактура. Хотелось выключить свет, открыть настежь окна, побежать к мяснику или еще куда-нибудь за большими, огромными кусками льда. Приходилось вновь и вновь убеждать себя, что ничего этого делать нельзя, что он не должен бояться, ибо *знает*, что надо, *помнит* все сроки, отмеренные часы, когда должен заняться вот этим и потом вот тем, что нельзя искусственно менять температуру тела сейчас, что ничего не должно произойти в ближайшие сутки, нужно просто делать то, что он себе наметил, по плану и дальше поступать точно так же — все по плану, все по часам, по минутам, все представлять себе заранее: куда идти, что говорить, что делать, какие могут быть препятствия и варианты, как эти препятствия обойти...

Сейчас по плану нужно было прощаться. Он обязан был сейчас сосредоточиться на прощании и прогнать эти мысли о том, что воздух в квартире не тот, что он задыхается вместе с ней, с Верой, от этого летнего киевского воздуха, наполненного шелестом листвы и гулом далеких голосов, что произойдет нечто неправильное, не по плану, он должен прощаться, и все, и больше ничего...

Вера лежала на обеденном столе. Она вечно обжигалась на кухне, когда что-то готовила: варила, пекла или жарила. Ее руки — запястья, ладони, локти — вечно были в следах от этих кухонных ожогов. Она любила для него готовить, хотя это могла бы делать кухарка. Но Вера любила сама печь для него сладкие пироги с вишней и яблоками, тушить мясо

с черносливом, запекать утку в духовке. И почти каждый раз обжигалась.

Доктор сидел на стуле, придвинувшись к столу, как будто собирался взять крахмальную салфетку, заложить ее за ворот рубашки и налить первую рюмку водки. Весленский низко наклонился, прислонился лбом к локтю Веры и посмотрел на ее запястье.

Каждый раз эти ожоги, такие досадные для нее, вызывали у доктора острый приступ любви, и он, понимая это несоответствие, только молча дул на них, сухо объясняя Вере, сколько будет еще побаливать, и дул, дул, дул, отчего начинала кружиться голова и Вера рано или поздно оказывалась у него на коленях.

Он пытался понять, в чем причина этого постоянного травматизма: от неловкости ли ее или от рассеянности? от того, что голова ее постоянно занята чем-то другим, посторонним? — и так и не смог.

Возможно, именно ее рассеянность и стала истинной причиной этой страшной болезни, от которой она в конце концов умерла, ведь человек должен, просто обязан чувствовать опасность, кончиками пальцев, всей кожей чувствовать, что его окружает, пропитан ли воздух вокруг жизнью или смертью... А Вера всегда как будто не жила, а спала, не ходила, а летала по воздуху.

Теперь же, вспоминая эту свою обычную тревогу за нее, он подумал: а если она подсознательно *сама* ловила эти моменты, когда он раскрывался весь, до конца? И всегда оказывалась у него на коленях, уходя в них все глубже, все мягче, и тщательно ловила эти минуты его острой нежности, заботы, связанной с ожогами...

Мысль о том, что он сидит за обеденным столом, не давала доктору покоя, раздражала, отвлекала от прощания.

«Ведь я же не собираюсь ее есть», — подумал он почти вслух.

Кожа после сильных ожогов меняет фактуру, становится чуть беловатой, чуть мертвец — он легко находил эти белесые, немного другие на ощупь пятнышки на ее руке, находил кончиками пальцев, чувствуя от этого странное возбуждение.

Сосредоточиться не получалось. Доктор отодвинул стул на приличное расстояние и начал смотреть на свою жену издали.

Вышло еще хуже.

Здесь как-то виднее была вся его комната, вся гостиная и дверь на кухню, откуда обычно появлялась кухарка Елена, и доктор вдруг понял, что *им всем* нужно будет что-то говорить, объяснять, втолковывать. Он хорошо представил себе лицо Елены, когда она увидит то, что он собирался сделать. И ему вдруг стало страшно, и он стал трусливо, жалко думать о том, что своими поступками нарушает целую вереницу законов, установлений, обычаев, убеждений, принятых в этом мире... и стоит ли их нарушать?.. Но и не может он сейчас, вот так сразу, резко, расстаться с Верой и с ее телом, не может, нет, он будет действовать именно по плану, потому что всякое живое существо должно иметь в своих действиях план, а существо без плана, по сути дела, мертвое, бессмысленное существо, лишенное воли к жизни...

«Но был ли план у Веры? — подумал доктор. — И была ли у нее воля к жизни? Не была ли ее постоянная рассеянность *прямым* доказательством того, что свой план Вера где-то потеряла, а может быть, даже и не нашла?»

Наконец доктор провел ладонями по лицу, выключил весь свет и достал большую высокую свечу.

Мысль о людях, которые совокупляются с мертвыми телами, ясная и зримая, доводила его в этот момент до тошноты, но в то же время он понимал, что в уме, в воображении, именно *это* он собирается сейчас сделать.

Он понимал, что впоследствии, когда все препятствия будут преодолены, он уже не будет воспринимать ее как знакомое ему тело, потому что... она (то есть не она, а ее тело) останется для него лишь как плод его усилий, как символ, как форма, как сосуд, но не как что-то живое, что еще сохранялось сейчас и с которым он собирался прощаться...

Тени скрыли то неприятное, что хотелось скрыть. Доктор Весленский стоял со свечой над своей женой и думал о том, что она оказывалась в его руках, горячая и задыхающаяся, ровно в те часы, какие были им предусмотрены, это было почти по минутам отмеренное время. И о том, что он хладнокровно следил все эти годы, которые они прожили вместе, за ней — как все привычной становились ее движения, как все сильней и смелей становились ее руки, как жарче и чаще дышала она в такт ему.

...Но гораздо более *важными* в их любви были не эти минуты, а другие — когда он видел ее как бы со стороны (на самом деле даже не видя), будучи совсем далеко от нее (например, в своей больнице), представляя, как она идет сейчас с корзинкой по рынку, или входит в библиотеку, или идет на концерт, или просто стоит на улице. И именно в этот момент, когда он просто вспоминал ее, его посещало то чувство, которого он так ждал сейчас...

Он часто размышлял о том, что весь его мир — это и есть она, ее высокие сапожки, ее слишком тонкая нога, и длинная ступня, и искривленные пальцы на ногах, ее худая шея, ее уши, ее детские ожоги. Что ради этого *знания* о ней, о том, что она есть, — существует и целый мир, существует он сам и вся его жизнь, которую он прожил ради этой встречи...

Проститься с Верой по-настоящему Весленскому в тот вечер так и не удалось. Он думал о своей предстоящей работе. И об их предстоящей новой жизни.

Доктор в ту первую ночь ненадолго заснул, а утром проснулся с ясной мыслью: один он не справится.

Прикрыв Веру покрывалом (и предварительно внимательно осмотрев ее), он без завтрака направился в больницу, где тут же нашел своего заместителя Ивана Бурлаку.

Заместитель главного врача Бурлака периодически зазывал и не приходил в больницу по несколько дней, однако, учитывая трудные времена в государстве, Весленский эту особенность неохотно ему прощал, и Бурлака был благодарен и предан ему насколько мог, причем, будучи *партийным*, не вмешивался в дела беспартийного доктора, нисколько не намекал ему на свое определенного рода могущество, а пытался точно и в срок выполнить все его указания, тихо и без шума проводил собрания небольшой партячейки и грубо обрывал на ней всякого, кто пытался критиковать администрацию больницы с позиций классовой борьбы.

Человек он был огромного роста и могучего телосложения, при этом добрый и спокойный, легко брал на себя некоторые специфические заботы по хозяйственно-адми-

нистративной части: следил, например, за тем, чтобы партийные товарищи, занимающие какие-либо посты в городе Киеве, лежали в больнице поудобнее, чтобы питание у них было получше и чтобы к ним почаще заходили медсестры. Так же легко давались ему переговоры с различными «товарищами», которые появлялись в больнице с проверкой и сразу попадали в кабинет к нему, поскольку все в больнице хорошо знали, к кому нужно их направлять.

Иногда, чтобы особо рьяные гости не пытались проникать в глубь больницы дальше положенной им территории, приходилось доставать банку медицинского спирта, причем в нужный момент, не раньше и не позже, и тогда товарищеский разговор неоправданно затягивался, о чем Весленский непременно сообщал Бурлаке с брезгливой полуулыбкой.

Услышав в то утро, о чем идет речь, Бурлака надолго отвернулся к окну.

— Знаете что, — наконец произнес он. — Я хочу с вами выпить. Мы с вами никогда не выпивали еще.

— Вера была прекрасным человеком, — торопливо сказал доктор. — Вы понимаете это?

— Я понимаю, — отозвался Бурлака и налил в мензурки себе и доктору. — Давайте, доктор. Давайте помянем вашу жену. Это не наш обычай, я знаю, не советский, но что же делать.

Доктор молча кивнул, выпил.

— Только не плачьте — сказал Бурлака. — Вид плачущих мужчин меня убивает.

— Да не буду я плакать, — сердито откликнулся доктор. — Иван Петрович, вы мне поможете?

— Не знаю, — покачал головой Бурлака. — Просто не знаю, что и делать. Как-то странно это все.

— Иван Петрович, дорогой, — заторопился доктор. — Поверьте на слово. Я без этого просто не смогу жить. Хотя бы на первое время... На первое время...

Потом доктор написал на бумажке список необходимых препаратов и пошел в хирургическую за инструментами.

Бурлака меж тем принялся составлять *документ*.

Документ на бланке больницы, а верней, горздравотдела, необходимо было составить такой силы и такой хитрости, чтобы никто, включая милиционеров, дворников и прочих разных грубых и малограмотных людей, с одной стороны, не мог бы усомниться в его подлинности, а с другой — не стал бы вникать глубоко в его суть.

Из документа в конце концов получалось, что *тело* покойной супруги главного врача Киевской городской больницы товарища Весленского, Штейн Веры Марковны, необходимое для серии научных экспериментов, является собственностью упомянутой горбольницы и не подлежит захоронению в общем установленном порядке.

Написав «в общем установленном порядке», Бурлака окончательно успокоился, налил себе в мензурку слегка разбавленного спирта, зажевал свежим огурцом и лег на кушетку, смешно подогнув ноги.

Он знал, что накануне сегодняшнего вечера ему необходимо поспать.

Препараты достали легко. Все они имелись в больнице в достаточном количестве, и перенести их вдвоем (в двух

докторских саквояжах) Весленскому и Бурлаке не составляло никакого труда.

Труднее было с инструментами, а главная, нехорошая трудность ждала их с пресловутым инъектором д-ра Выводцева.

Решив с утра главный вопрос — с Бурлакой (то есть действуя строго *по плану*), доктор немедленно помчался в городскую библиотеку города Киева, где взял всю имеющуюся литературу о бальзамировании трупов. Потратив не менее двух часов на лихорадочное конспектирование, доктор вдруг ясно понял, что никакого инъектора он в ближайшие часы не достанет и что придется обходиться как-нибудь без него, а именно — обычными шприцами большого объема.

Следующий вопрос — как сделать так, чтобы в больнице *не заметили* внезапного исчезновения такого большого количества скальпелей, зажимов, шприцев и другого, — доктор решил очень просто — работать ночью. В ночное время в их больнице, за редчайшим исключением, никаких операций не производится, поэтому и инструменты в это время вряд ли кому могут понадобиться.

Сказав все это, доктор три раза прочел уже проштампованный печатью документ, аккуратно сложил его и спрятал в карман пиджака.

Успокоенный Бурлака пошел принимать очередную комиссию, а сам доктор — больных.

А потом наступил вечер. Вечер второго дня.

Вообще, надо сказать, что доктор Весленский был личностью неординарной и *до* описываемых событий.

Известно о нем было, например, то, что во время операции во фронтовом госпитале (на полях, так сказать, сражений Первой мировой войны) произошел с доктором некоторый тяжкий конфуз.

Операция была тяжелая, полостная, и Весленский был в очень большом напряжении, когда мимо него вдруг прошла *делегация*.

Делегация эта, помимо фронтового начальства, содержала в себе и кого-то из членов царской фамилии, а именно, некое лицо женского пола: возможно, великую княжну Ольгу, или Анастасию, а то и саму императрицу Александру Федоровну.

Все эти женщины, кстати, включая Александру Федоровну, не раз бывали в госпиталях и даже работали сестрами милосердия. То есть делегация сама по себе была делом если не будничным, то вполне понятным, и поэтому, когда Весленский вдруг резко перестал оперировать и заорал истошным диким голосом: «Стоп! Выйдите вон! Вы мешаете работать!», на мгновение в просторной лазаретной палатке наступила мертвая тишина. Никто не знал, как быть и что делать дальше.

Однако самый вид доктора, склонившегося в окровавленном халате над распластанным телом, и его безумный левый глаз, как бы остановившийся и глядевший куда-то в сторону, в пустоту, был так убедителен и так одновременно хорош, что тишина стала быстро исчезать, высокая гостья произнесла несколько слов на французском и вместе со своей свитой изящно ретировалась, строго-настрого приказав не применять к доктору никаких дисциплинарных взысканий и, боже упаси, вообще никак его за этот случай не называть.

То, что штабной генерал, сопровождавший высокую гостью, начал отвечать чересчур громко, чересчур ретиво, и к тому же *под руку* врачу, совершавшему операцию, было как раз всем понятно, и что инструкции были даны ее высочеством (или величеством) самые что ни на есть прямые, тоже было всем очевидно... тем не менее с этих самых пор блистательная карьера военврача Весленского как-то не далась.

Не было ни продвижения по службе, ни наград, ни чего-то еще, чего, может быть, доктор ожидал, да и вообще отношение к нему стало как-то суше, опасливее и холодней: ведь случай был весьма нерядовой, разнесся быстро по всем фронтам и был воспринят весьма неоднозначно, так что болезненное это высказывание, хотя и вполне корректное для фронтовой медицины, в рамках, так сказать, более общих пошло гулять себе и жить своей жизнью, нанося непоправимые удары воинской иерархии, дисциплине, а стало быть, и всей службе, и всей армии в целом.

Но вот что знаменательно: если карьера доктора (военная, а потом по инерции и штатская) пострадала, то сама жизнь его, судьба Весленского, по большому счету была спасена.

Ибо началась революция, и куда бы доктор с тех пор ни попадал, в каких бы сложных обстоятельствах ни оказывался, всюду о нем начинали судачить: «А, это тот самый, который...» и всюду эта легенда, дополняемая все новыми подробностями, деталями, штрихами, шла за ним следом. И доктора... не трогали.

Для всех властей, таким образом, доктор Весленский был не просто врачом, а *тем самым* врачом, символом,

так сказать, гражданского бесстрашия, или честности, или чего-то еще, что было даже и не совсем понятно, не совсем переводимо на обычный язык, и оттого доктор благополучно пережил все революционные годы и годы Гражданской войны.

Именно об этом, то есть о незаурядности, исключительности и *предназначении*, и говорил с доктором в ту ночь Иван Петрович Бурлака.

— Послушайте, — говорил он Весленскому. — Послушайте меня, мой дорогой. Я знаю, что вы ее очень сильно любили. Я это понимаю. Если бы я этого не понимал, я бы не стоял сейчас здесь. Но вот я стою здесь, подавляя в себе страх, и тошноту, и ужас, я стою здесь ради вас, *только* ради вас, дорогой мой. Именно поэтому я прошу вас, вот сейчас, выслушать меня. Дело ведь не в том, как пройдет операция. И добьемся ли мы с вами... удачного результата... — Бурлака немного помолчал. — Но... вы простите меня, доктор, я думаю сейчас больше о том, что же будет дальше. *После этого*. Вы ведь не просто врач. Вы, может быть, великий врач. И от того, как сложится ваша жизнь, зависит и жизнь очень многих людей. То есть в прямом смысле. Выживут ли они. Жизнь их зависит, понимаете? Так зачем же мы с вами сейчас хотим погубить все эти человеческие жизни, которые вы должны спасти вашими руками и вашей мыслью? Ведь то, что мы хотим с вами сделать... доктор... то, что вы хотите сделать... это, знаете ли, пахнет мистикой и... каким-то, вы знаете, нездоровым, не нашим, не советским отношением к смерти. Одно дело — вождь пролетариата, другое дело — жена. Вы хоть это понимаете? И что будет с вами по-

сле этого, так сказать, эксперимента, я сказать затрудняюсь. Честное слово, затрудняюсь.

Все это Бурлака говорил, подняв руки, согнутые в локтях, кверху — как делают все хирурги перед операцией. И доктор стоял тоже в белом халате и в той же позе. Они стояли по разные стороны обеденного стола, на котором лежала Вера Штейн. Ярко горела люстра, белели простыни, поблескивали инструменты, мутно и в то же время как-то таинственно блистали растворы в склянках. И самым опасным и нестерпимым в этом пейзаже было тело Веры. Одно лишь это тело, не говоря уж про все остальное, красноречиво свидетельствовало о том, что отступать им некуда.

— Ну, с богом, дорогой Иван Петрович, — просто сказал Весленский. — Во время операции разрешаю вам пить спирт, но осмотрительно.

Весленский то и дело соотносил свои действия с конспектами. Все надрезы он делал крайне бережно, а составы вводил крайне аккуратно.

— Вы извините, доктор, — сказал Бурлака в середине этой ночи, — но мне на вас даже как-то смотреть неудобно. Как будто вы с ней что-то такое...

— А вы и не смотрите, — сухо ответил доктор. — Или думайте о чем-нибудь своем.

Думать, впрочем, было особенно некогда, доктор и Бурлака работали как сумасшедшие почти до утра.

Вообще идея привлечь к этому делу *ассистента*, как потом понял доктор, была совершенно гениальной.

Утром Бурлака вызвал карету «скорой помощи» и, отозвав лекарей на кухню, долго о чем-то с ними говорил,

предъявив документ. Лекари не соглашались вначале, но затем, внимательно осмотрев тело и сочувственно покивав, попросились и вышли, обещав вскорости предоставить доктору официальное свидетельство о смерти.

Затем явилась кухарка Елена.

С ней доктор говорил сам.

Единственное, что в его рассказе было выдумкой, это ни на чем не основанное утверждение, что тело нужно медицине для научного эксперимента, для обучения студентов и прочих медицинских надобностей, и хотя трогать его никто не будет, но находиться оно должно дома, для пущей сохранности, а с больницей (доктор кивнул на Бурлаку) он обо всем договорился.

Потрясенная Елена долго плакала, потом попросила показать ей Веру и расплакалась еще пуще.

Но вот что было поразительно, отметил про себя Бурлака: ни лекари «скорой помощи», ни кухарка — никто поначалу не выказывал никакого удивления, не впал в крайний ужас, не умолял доктора отказаться от его безумной затеи. Елена осторожно осведомилась, где именно отныне будет находиться хозяйка и как за ней надобно ухаживать.

Она выслушала инструкции молча и, взяв рубль, отправилась, как всегда, на рынок.

Придя с рынка, где окончательно продышалась и успокоилась, Елена принялась за уборку. Убираться ей в тот день пришлось значительно больше обычного, голову кружили странные запахи, и доктор дал ей еще пятьдесят копеек, а сдачи с рынка не попросил.

Наконец, постояв еще немного у открытого настежь окна, Елена принялась за готовку. Доктор ведь должен чем-то питаться, о чем она с жалостью ему сообщила. Затем осторожно осведомилась, желает ли доктор борщ, и прикрыла за собой дверь в кухню.

Однако дожидаться борща Весленский с Бурлакой никак не могли, поскольку им следовало отправляться в больницу.

После бессонной ночи их трудовой день тянулся необыкновенно долго, доктор то и дело заходил в кабинет к Бурлаке, но тот был с очередной комиссией и делал ему извиняющиеся знаки — мол, простите, занят, занят!

Тем не менее в перерыве между двумя больными Весленский все же улучил минутку и застал Бурлаку в одиночестве — на этот раз он сладко спал, прислонившись головой к стеклянной дверце книжного шкафа. Доктор его разбудил, они быстро разлили по мензурке и выпили за упокой души Веры Штейн. И хотя Весленский сразу зажевал спирт кофейным зерном и от него почти не пахло, факт этот в силу своей крайней необычности быстро разнесся по ординаторским и другим служебным помещениям вверенной ему городской больницы.

Однако врачи и сестры уже знали от Бурлаки, что у доктора умерла молодая жена, и лишь сочувственно кивали, охали и, оставшись одни, смотрели куда-то вдаль, силясь постигнуть загадку чужой судьбы.

Что касается самого доктора, то и вечером этого третьего дня он продолжал действовать строго по плану.